ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

В. О. Ключевский

SHOUT
SHARE IT

Annotation

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.

«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.

Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

- Василий Осипович Ключевский
  - С.М. Соловьев
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Василий Осипович Ключевский

С.М. Соловьев

Ученый. С. М. Соловьев родился 5 мая 1820 г. в Москве.[1] Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище. Первоначальное образование Сергей Михайлович получил дома и только уже на 14-м году поступил в I Московскую гимназию прямо в третий класс. Окончив гимназический курс в 1838 г. с отличным успехом (имя его осталось на золотой доске гимназии), он перешел в Московский университет на первое отделение философского факультета, как тогда назывался историко-филологический факультет.

Из гимназии он вынес основательное знание древних классических языков, и им посвящен был первый литературный опыт, явившийся в печати с именем Соловьева. Это была произнесенная им на гимназическом акте при выпуске речь «О значении древних классических языков при изучении языка отечественного». Изучение древних языков продолжалось и в университете, где в то время сильно действовал на умы слушателей своими блестящими и полными новизны лекциями о древней истории профессор римской словесности Д. Л. Крюков. По рассказу самого Соловьева, Крюков даже предлагал ему специально готовиться под его руководством к занятию кафедры римской словесности. Но Соловьев уже решил выбор ученой специальности, посвятив себя изучению истории, преимущественно отечественной. В это же время, когда Соловьев был на втором курсе (1839), начал свою столь памятную в истории Московского университета ученую деятельность только что вернувшийся из-за границы преподаватель всеобщей истории Т. Грановский. Вместе со многими товарищами Соловьев подчинился обаятельному действию сильного таланта. Впоследствии исторические занятия сблизили его с Грановским, Соловьев стал потом его ближайшим товарищем и до конца его жизни остался связан с ним самой тесной дружбой.

В студенческие годы Соловьева русскую историю преподавал в Московском университете известный М. П. Погодин. Тогда уже близилась к концу его профессорская деятельность, прекратившаяся неожиданно для него самого в 1844 г., когда он по некоторым причинам покинул службу в университете в надежде вернуться туда года через два – и уже не возвращался. Погодин заметил даровитого студента, прилежно и с успехом занимавшегося изучением отечественной истории. Задумав оставить университет на время, Погодин, года за два до своей отставки, предуведомляя совет об этом намерении, указал ему в числе других кандидатов для замещения своей кафедры (Григорьева и Бычкова) и на студента Соловьева, бывшего тогда на последнем курсе.

Тотчас по окончании университетского курса новому кандидату 1-го отделения философского факультета представился случай побывать за границей и там довершить свое историческое образование. Он отправился туда с семейством графа А. Г. Строганова, которому рекомендовал молодого кандидата тогдашний попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Соловьев пробыл за границей два года (1842–1844). Проездом он посещал Берлинский университет, бывал, между прочим, в аудитории Неандера;[2] в Праге

познакомился и много беседовал об истории славянства и России с Шафариком[3] и другими чешскими учеными. Но главным местом его заграничных занятий был Париж. Здесь он много читал и много слушал, посещая усердно лекции Ампера, Кинэ, Ленормана, Мишле, Рауль-Рошетта, Ж. Симона, Ф. Шаля, также Фр. Араго и Мицкевича. К изучению истории России он старался подготовить себя основательным знакомством с историей всеобщей, особенно с теми ее явлениями, которые имеют прямую или косвенную связь с фактами нашего прошедшего. Впрочем, и на чужой стороне не прекращались занятия отечественной историей: в Париже Соловьев если не писал, то обдумал и подготовил свою мастерскую диссертацию, которую представил факультету вскоре по возвращении в Москву, в начале 1845 г., выдержав перед тем экзамен на степень магистра русской истории.

Возвратившись из-за границы, Соловьев чрезвычайно быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры, хотя эти испытания в то время были несравненно сложнее и труднее, чем стали теперь. Так, публичной защите диссертации в то время предшествовал диспут в закрытом заседании факультета, чем приобреталось право на словесный экзамен и на публичную защиту диссертации. Выдержав магистерский экзамен в начале 1845 г., он дважды напечатал и в октябре того же года защитил магистерскую диссертацию «Об отношениях Новгорода к великим князьям». Через год факультету была уже представлена им докторская диссертация «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» – объемистая книга в 700 страниц. Такая скорость тем удивительнее, что она не отразилась заметно на качестве ученой работы и что, в то время как писалась эта книга, автору ее пришлось работать над другим делом, самым трудным в ученой жизни профессора. В июле 1845 г., по предложению попечителя, он был избран в преподаватели русской истории в Московском университете, читать свой первый курс в университете. А после защиты магистерской диссертации Соловьев утвержден был на кафедре русской истории, впрочем, только в звании исправляющего должность адъюнкта, хотя уже имел степень магистра. Определение совета Московского университета, дозволявшее печатать представленную Соловьевым на степень доктора диссертацию, состоялось 18 декабря 1846 г., в июне следующего года диссертация была защищена. А в промежутке 27-летний магистр русской истории успел сдать экзамен на степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики – экзамен, на котором ему предложено было 11

вопросов из этих наук, а также из древней и новой географии. В три года со времени возвращения из-за границы – два экзамена и две диссертации с четырьмя диспутами, не считая первого курса русской истории, читанного студентам в 1845/46 академическом году, не считая и ряда статей, написанных в то же время. Русские ученые поднимались редко по лестнице ученых степеней так быстро и с таким успехом. Уже в те годы Соловьев в совершенстве обладал тем умением беречь время, которое дало ему возможность сделать так много впоследствии.

Обе диссертации создали автору громкую известность не только в тесном кругу ученых, но и во всем читающем обществе. Первое его исследование, выпущенное в свет в ограниченном количестве экземпляров, разошлось так быстро и так настойчиво спрашивалось публикой, что в 1846 г. автор принужден был с некоторыми пополнениями перепечатать его в «Чтениях Общества истории и древностей Российских». По свидетельству одного тогдашнего московского литератора-наблюдателя, первую диссертацию Соловьева «все литературные партии встретили самым решительным одобрением без различия мнений». Вторую диссертацию встретили с таким же, если не с большим сочувствием, которое сказалось и на диспуте (9 июня 1847 г.) и в печати. «Диспут блестящий!» – так начал упомянутый наблюдатель свой отчет о нем: «Несмотря на летнее время, – продолжает он, – когда Москва пустеет, большая университетская аудитория была полна. Кроме профессоров и студентов, было много лиц сторонних. Некоторые посетители и посетительницы не задумались для ученого торжества приехать с дач; публика живо заинтересовалась и следила с участием за диалектикой и доводами говоривших», а говорили, возражая Соловьеву, Грановский, Бодянский, Кавелин и студент Клеванов. Незадолго до диспута ученый из другого литературного лагеря, враждебного тому, к которому примкнул Соловьев, известный И. Д. Беляев в «Московском городском листке» поместил о его книге небольшую, но бойкую статейку, подобные которой ему редко удавалось писать потом. Здесь рецензент называл труд Соловьева «книгой, по своему превосходному содержанию долженствующей быть настольною у каждого занимающегося русскою историей», книгой, которую «можно прочесть с удовольствием десять раз и больше». Строгая логическая последовательность в выводах, по признанию критика, царит над всем сочинением; выводы и факты являются в книге чем-то неразрывным, родным друг другу; иногда даже дивишься, прибавляет Беляев, отчего прежние историки не замечали того, что так естественно и просто открыл Соловьев.

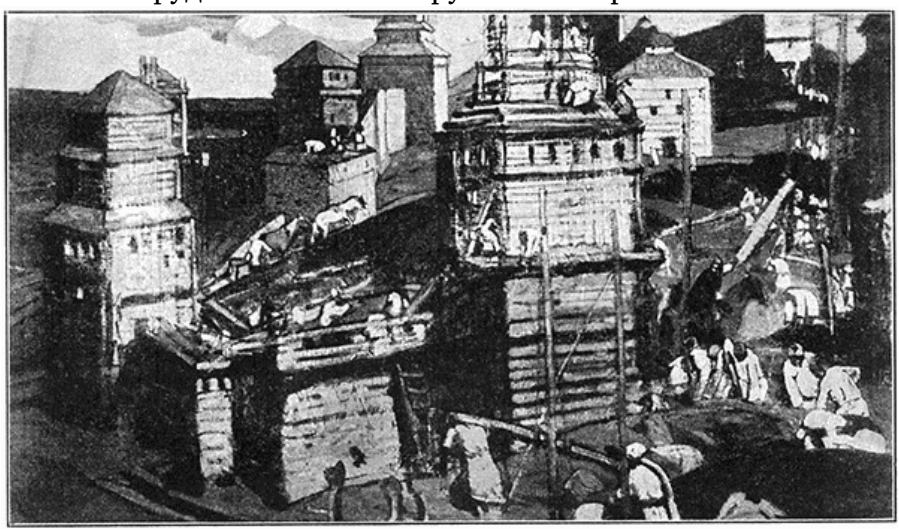
Успех обеих диссертаций, не устаревших и доселе, объясняется не одним талантом автора, но и его серьезной подготовкой. В этих первых ученых опытах своих начинавший историк выступил уже с обдуманными историческими понятиями, с определенным взглядом на задачи и приемы исторического изучения. Этот взгляд определился с помощью раннего и близкого знакомства Соловьева с современным состоянием исторической науки на Западе. Знакомство это началось еще на студенческой скамье в Москве, и потому ему преимущественно посвящены были двухлетние заграничные занятия. В «Москвитянине» в 1843 г. напечатана была чрезвычайно живая, с юношеским одушевлением написанная статья о Парижском университете, под которой стоит пометка: «Прага Чешская, 23 июня 1843 г.». С большим увлечением, которое сообщается и читателю, передает здесь московский слушатель французских профессоров впечатления, накопившиеся в нем в продолжение академического года, когда он усердно посещал Сорбонну. Это ряд метких характеристик преподавателей, которых он слушал в Париже, с остроумными замечаниями о характере и манерах французского университетского преподавания. Мишле, например, выдержками из его лекций очерчен во весь рост с его отвращением к системе, внешней беспорядочностью и болтливостью изложения и блестящей, ловко заостренной и иногда очень меткой отдельной фразой. Но Соловьев не увлекался восторженной импровизацией французских профессоров. Отдавая должное внешним качествам их преподавания, он хорошо видит его внутренние недостатки, превращающие университетскую лекцию в публичную ораторскую речь.

Н. Рерих. **Заморские гости**

Очевидно, не под влиянием этих более ораторских, чем ученых, чтений складывался взгляд Соловьева на задачи и приемы научного исторического исследования. Притом курсы, слушанные им в Париже, по крайней мере те, о которых он отдает отчет в своей пражской статье, и по содержанию своему были слишком далеки от того порядка исторических явлений, на котором он потом останавливал преимущественное внимание в своих исследованиях, а в краткой автобиографической статье, составленной им для «Словаря профессоров Московского университета» (1855), он сам заметил, что за границей «он продолжал исторические занятия, разрабатывая преимущественно те предметы, которые имели ближайшее отношение к его главному предмету – отечественной истории. В Париже он слушал в 1842–1843 гг. чтения С.-Марка Жирардена о французской драме, Ф. Шаля – по историй немецкой литературы, Кинэ – по истории древней немецкой, итальянской и испанской литературы, Ампера – о французской литературе XVII в., Россе С.-Илера – о состоянии Италии до основания Рима, филолога Патена – о комедиях Теренция, Ж. Симона – о философии, Ленормана, преемника Гизо по кафедре новой истории, – о Евангелии и христианстве, наконец, Мишле, курс которого, называвшийся философией истории, по-видимому, мало соответствовал своему названию. Разнообразие этих курсов свидетельствует о широкой любознательности молодого кандидата, посвятившего себя

изучению отечественной истории, но его исторические взгляды вырабатывались больше путем обширного чтения, чем под влиянием заграничной университетской кафедры.

В то время изучена была Соловьевым большая часть важнейших произведений западноевропейской исторической литературы, многочисленные выписки из которых он хранил в своих бумагах. Из всех представителей европейской историографии XIX в. никого не ставил он так высоко, как Гизо, а из исторических произведений прошлого столетия великое научное значение придавал он философии истории Вико (Scienza nuova). Эти имена бросают некоторый свет на источник и характер общих исторических воззрений, которые легли в основание трудов Соловьева по русской истории.



Н. Рерих. **Сооружение древнего русского города**

С начала нынешнего века европейская историческая литература стала заметно принимать иное направление, какое лишь изредка появлялось в ней прежде отдельными робкими попытками без взаимной связи и последовательного развития. Философски, apriori построенные схемы в истории стали терять прежнюю цену, как еще раньше потеряли ее разные историко-дидактические построения судеб человечества. Исторический опыт, тяжелые и быстрые перемены, часто совершенно непредвиденные, какие были испытаны европейскими обществами с конца прошедшего столетия, привели к мысли, что в истории, помимо той пищи, какую она доставляет философскому и эстетическому созерцанию, есть еще сторона, более важная для изучения и более нужная для практических потребностей настоящего и будущего, – это природа и действие

сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ. Историческая мысль стала внимательно всматриваться в то, что можно назвать механизмом человеческого общежития. В этом наблюдении она пошла двумя путями, направляемая различными впечатлениями, какие вынесены были из недавнего опыта. Этот опыт состоял из ряда потрясений, совершившихся в политической жизни обществ и вызванных борьбою сменой разных государственных порядков, и, чтобы найти причину столь великих и неожиданных крушений, одни наблюдатели обратились к рассмотрению политической конструкции, кладки разных обществ и изучений процесса, каким они складывались. Но один и тот же политический порядок имел неодинаковую судьбу в разных местах, приводил к различным последствиям. Порядок, по-видимому, наиболее разумно проектированный и обещавший прочно обеспечить человеческое благополучие на иной почве не принимался, портился, разрушал спокойствие и благосостояние целого общества и уступал место другому, казавшемуся худшим, как будто в деле политических учреждений кладка, технически лучшая, может быть негодной на иной исторической почве. И потому другие наблюдатели сосредоточивали свое внимание на свойствах этой почвы и того материала, который из нее извлекался для построения общества. Так задача исторического исследования раздвоилась: для одних предметом его сделались преимущественно генезис и развитие политических форм и социальных отношений, политика и право, для других – рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа. Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке. Оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом; однако же это разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу.

Соловьев присоединился к первой из этих школ, если можно так назвать указанные направления, господствовавшие в исторической литературе. Преемство политических форм, происхождение и развитие сословного расчленения общества и т. п. – таковы были предметы, на которых он прежде и больше всего сосредоточил свое внимание, как только принялся за самостоятельную обработку отечественной истории по окончании приготовительных занятий. С таким взглядом на задачи исторического изучения возвратился он в 1844 г. из-за границы, и присутствие программы, построенной на таком взгляде, заметно уже в содержании первого университетского курса, читанного им в 1845/46 академическом году.

В подробном «Отчете о состоянии и действиях Московского университета» за этот год читаем, что исправляющий должность адъюнкта магистр Соловьев преподавал по собственным запискам русскую историю студентам 3-го курса 1-го отделения философского факультета и 2-го курса юридического по 4 часа в неделю, предполагая довести свой курс до новейших времен. «Преподаватель особенно обращает внимание своих слушателей на родовой быт, господствовавший в Древней Руси, и постепенный переход его в быт государственный; равно обращает особенное внимание на отношение между Русью Московской и Русью Литовской и на историю сословий».

Сверх того, студентам 4-го курса философского факультета он преподавал по 2 часа в неделю специальный курс, предметом которого была «история междуцарствия». В отчетах ближайших следующих лет находим указания только на содержание этих специальных курсов: в 1846/47 г. читана была история царствования трех первых государей из дома Романовых, в 1847/48 г. – история Петра Великого и т. д. Но уже из отчета за первый год преподавательской деятельности Соловьева достаточно видны содержание и характер его другого курса, который студенты слушали прежде специального. Это был общий обзор истории России, столь памятный всем его слушавшим, который останавливался там, откуда профессор в следующем году предполагал вести более подробное его продолжение. Так уже в первые годы Соловьев установил тот порядок преподавания, которого он долго держался потом. Начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась «История государства Российского» Карамзина, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше вперед, но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой, уже подготовленный к тому общим курсом русской истории с древнейших времен. Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей. С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживались все более, так что он превратился, наконец, в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России. Тот же самый взгляд на задачи исторического изучения проходит и по обеим диссертациям Соловьева, и последовательное проведение в них этого взгляда было главной причиной сильного впечатления, какое они произвели на читающее общество.

Такое генетическое изучение форм и отношений государственного и общественного быта России было тогда если не совершенной новостью в нашей историографии, то, во всяком случае, явлением, к которому еще не привыкли, которому предшествовали слабые попытки в этом роде. А в обеих первых книгах Соловьева, даже в их заглавиях, как в устном изложении с университетской кафедры, так потом в «Истории России» на первом плане именно отношения. В диссертации об отношениях Новгорода к князьям сделана попытка объяснить социальное происхождение и первоначальное устройство русского города древнейшего времени.

Здесь же впервые высказана была мысль, которой потом историк дал такую важную роль в ходе политической истории России, – мысль о политическом значении новых городов, возникших в Северной Руси XII в., среди которых сложилось понятие об отдельной княжеской собственности, уделе, сменившее прежний порядок владельческих отношений между князьями, основанный на понятии об общности, нераздельности владения. Задачей исследования было изучение «характера новгородского народовластия», решение вопроса: «Был ли Новгород республикою, в которой развивался особый быт, не имевший ничего общего с бытом других городов русских, отделился ли он своим бытом при Ярославе I, или отделился от новой Руси вместе со старой и потом, оставшись один представителем последней, не мог удержать старины и преклонился перед городами юными?»

Тот же взгляд во второй диссертации приложен к кругу явлений нашей политической истории, еще более широкому. В нашей исторической литературе это был первый опыт, имевший целью вывести из одного начала и изобразить в виде непрерывного, последовательного процесса ряд форм политического быта, сменившихся в России с половины IX до конца XVI вв. Восстановляя этот процесс, Соловьев высказался решительно против искусственного деления нашей истории, против названий одного периода удельным, другого монгольским, дающих неверное понятие о характере времени или разрывающих естественную связь событий, «естественное развитие общества из самого себя». Книга об отношениях русских князей Рюрикова дома, по основной своей мысли, имеет тесную внутреннюю связь с исследованием о новгородских отношениях, развивает положения, намеченные в последнем. В этой книге получил окончательную обработку факт, который обозначен был Соловьевым как главное содержание его первого университетского курса. Факт постепенного перехода родовых

отношений, служивших первоначальным основанием порядка княжеского владения, в отношения государственные.

Посредствующим моментом, через который совершился этот переход от одного порядка к другому, служило понятие о княжестве как об отдельной собственности князя, понятие, происхождение которого объяснено было автором в исследовании о Новгороде и которое, на его взгляд, возникло из отношений, установившихся между новыми городами Северной Руси и князем. Что вызвало государственные отношения, спрашивает исследователь, и что дало им торжество над родовыми? Ответом на этот вопрос служит такой ряд исторических соображений. По распадении Ярославова княжеского рода на семьи, часто одна другой враждебные, семья северных князей не развивается в род, как это было на юге, где обособлявшиеся княжеские семьи стремились опять развиться в роды с прежними родовыми отношениями. На Севере первоначальная княжеская семья, отделившись от южных, в дальнейшем развитии своем распадается на такие же отдельные семьи, которые не смыкаются в родовое целое, между которыми не повторяются прежние родовые отношения. Это потому, что нет условия, при котором только они и могли повториться, «нет более понятия об общности, нераздельности владения». Отсюда «постоянное разделение и постоянная борьба между княжествами», что «дает сильнейшему возможность подчинить себе слабейшие. Эта возможность основывается на понятии об отдельной собственности, которая исключала родовое единство. Понятие же об отдельной собственности явилось на Севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью». Таким образом, родовой быт, господствовавший в Древней Руси, является началом, из которого последовательно развился ее политический порядок, и самый этот быт, как исходная точка развития древнерусских политических форм, исследован историком более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития, в кругу частных гражданских понятий и отношений.

А. Кившенко. **Призвание князя – встреча князя с дружиной, старейшинами и народом славянского города**

Со времени возвращения своего из-за границы Соловьев удивительно много пишет. В одно время с обеими диссертациями и вслед за ними составлен был им ряд значительных по объему статей не только по русской, но и по всеобщей истории. В 1846 и 1847 гг., когда писалась и печаталась книга об отношениях князей, напечатаны были в разных периодических изданиях исследования о нравах и обычаях Древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов, о состоянии духовенства в России до половины XIII в., местничестве, Мстиславе Храбром, Данииле, князе Галицком. Сверх того, изложена была русская летопись для первоначального чтения и составлены два очерка по всеобщей истории – «Рим» и «Варвары». В 1848 г. приготовлены были к печати две обширные статьи, из которых одна содержала в себе обзор событий русской истории от кончины царя Феодора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых, другая – очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу. Исследования, обзоры, очерки, критики и рецензии идут непрерывным рядом до 1851 г., продолжаются и далее, вливаясь потом из разных повременных изданий, подобно притокам большой реки, в «Историю России с древнейших времен». Следует также припомнить, что к 1850 г. у Соловьева был уже готов на кафедре цельный общий курс древней русской

истории и специально изложена была история XVII и начала XVIII вв.

Такой усиленной ученой деятельностью приготовлялся Соловьев к труду, который стал главным делом его жизни и навсегда связал его имя с успехами русской исторической науки и русского общественного сознания. Важнейшие источники древней русской истории были уже им изучены, важнейшие ее явления обдуманы и приведены во взаимную связь, когда 30-летний историк, по достижении профессорского звания (в июле 1850 г. утвержден был ординарным профессором), предпринял, как он сам замечает в своей упомянутой выше автобиографической записке, «труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего». В августе 1851 г. вышел первый том этой «Истории», и потом, в продолжение 27 лет, каждый следующий том с неизменной точностью являлся через год после предшествующего.

В. Васнецов. **Основание Москвы. Постройка первых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году**

Появление этого капитального труда многими встречено было с некоторым недоверием: многим еще казалось слишком смелым писать историю России после Карамзина. Но знаменитая книга Карамзина, прочитанная столь многими, воспитавшая в обществе нашем столь живой интерес к собственному прошедшему, была отражением умственного состояния этого общества, которое уже было отжито им до половины XIX в. Она не

отвечала на исторические вопросы, которые успели выступить в нашем общественном сознании со смерти знаменитого историографа, не отвечала требованиям, с какими стали обращаться к историографии. Около половины нашего века, в истории искали уже не одних «удовольствий для сердца и разума», не пищи для воображения, не «созерцания многообразных случаев и характеров, которые занимают умы или питают чувствительность», но искали и других, более сухих и прозаических указаний. Присутствие этой потребности в нашей литературе за много лет до выхода первого тома «Истории России» Соловьева, между прочим, доказывается появлением исторического труда, отличающегося мыслью и талантом, но составленного слишком торопливо и без достаточной подготовки, – «Истории русского народа» Полевого.

Пока историческая критика разберется в огромном труде Соловьева и оценит его научные результаты, обновим еще раз в памяти то, что было нами в нем читано в продолжение столь многих лет, те основные мысли, в которых выразился взгляд историка на ход нашей истории, и которые надолго останутся точкой отправления и опоры для дальнейшего изучения русского прошедшего. Этот взгляд, обнимая собой девять веков жизни русского народа, проходит чрез длинный ряд томов «Истории» цельной связующей их нитью, которая, о чем никогда не перестанет жалеть русская историческая наука, прерывается на последней четверти прошлого столетия, оставляя нас без последнего слова, без окончательного суждения историка, которое не только осветило бы смысл и значение этого века в нашей истории, но и бросило бы луч исторического света на времена, еще более к нам близкие.

Когда Соловьев начинал писать первый том своей «Истории России», процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно, и оставалось только изложить его подробности. Взгляд на этот процесс определился и установился в первых трудах историка, который остался верен ему и впоследствии. В предисловии к первому тому этот взгляд тот же, каким находим его и 13 лет спустя, когда повествователь, дошедши до конца XVII в., на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время. Согласно с задачей исторического изучения, рано им усвоенной, он поставил главной целью своего труда воспроизвести последовательный рост политической и социальной жизни России. «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, непосредственным преемством форм. Не разделять начал, но

рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснять каждое явление из внутренних причин – вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Преемство именно политических и общественных форм, в какие облекалась жизнь русского народа, несколько раз изложено было историком и в главном труде и отдельных опытах. Так, в одной статье 1857 г. это преемство изображено кратко в виде схемы, отмечающей только самые крупные явления, главные моменты исторического процесса.

На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев славянских и финских. Они живут особыми, замкнутыми, самостоятельными родами. В некоторых племенах на севере эти роды были приведены к единству под одну общую власть сначала силою, были покорены пришлыми варягами. По изгнании последних, родовая особенность высказалась в усобицах, «встал род на род». Тогда обращаются к недавно испытанному средству, уже добровольно призывают общую власть. Пользуясь соединенными силами призвавших племен, князья подчиняют себе все остальные. Вместо племен, по соединении их, являются волости, каждая со своим князем, но эти князья все – члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластие. По окончании медленного, вследствие громадности страны, процесса государственного объединения Русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием.

В «Истории России» эта историческая формула раскрывается в таких приблизительно чертах.

Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, погнав их на девственный северо-восток, из лучшей страны в худшую. Так история-мачеха заставляла их населить страну, где природа является мачехою для человека, тогда как немцы шли в обратном направлении, на юго-запад, из худших стран в лучшие, в области Римской империи, где природа для человека – мать и где притом была уже цивилизация. В этом причина различия всей истории этих двух племен – братьев по происхождению. Наши славяне со своими родами, с их князьками разбросались, затерялись на великой Русской равнине, в поселках по Днестру, Днепру, Оке и т. д. Их городки – огороженные села. Из соседней степи налетят кочевники: городки падали, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все тихо по-прежнему; от хищников остается одна

пословица: «Изгибоша аки Обри»; силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как у германцев в соседстве с римлянами. Но и для наших славян пробил час исторической жизни. На Днепре показываются лодки: плывет из Новгорода русский князь с дружиной. «Платите нам дань», – говорят они в каждом встречном селении. Дело не новое: несут меха, чтобы сбыть гостей поскорее. Но гости не уходят, усаживаются в Киеве, рубят городки, ходят по рекам и речкам за данью. Люди уходят из сел, покидая своих родовых князьков, селятся около городков, где есть льгота и защита, можно много заработать, уходят с князем в поход на Царьград, вступают в дружину, где жить хорошо: от всех почет и всего вволю. Племенное деление исчезает: население делится на сословия – княжих мужей, полных людей, и полулюдей, мужиков, последние – на городских промышленников и сельчан; земля делится не на племенные области, а на княжения, называющиеся по именам главных городов, правительственных средоточий.

Так изменился быт населения под влиянием правительственного начала, но и последнее подпало влиянию туземного быта. В населении равнины господствовал родовой быт. По смерти Ярослава до конца XII в. и между князьями действуют родовые отношения. На них основан порядок владения землей, которую князья считают нераздельным достоянием всего своего рода, отсюда сильное, непрерывное движение, передвижка князей из волоки в волость по старшинству, борьба, споры, усобицы. Но эта беспорядочная беготня князей по волостям не давала последним обособляться, волею-неволею вовлекала их в общую жизнь, создавала общие всем им интересы, укореняла в них сознание своей взаимности, нераздельности всей земли и, таким образом, положила прочное основание государственному и народному единству.

Отдельные племена с призванием князей приведены были в связь, преимущественно внешнюю. Благодаря родовым княжеским отношениям, со смерти Ярослава является впервые русский народ. Теми же отношениями определился и склад общества. Увлеченная вихрем княжеского движения, дружина не приобрела самостоятельного положения ни в качестве оседлых землевладельцев по областям, как феодальное дворянство на западе, ни в качестве наследственных областных правителей, как польское вельможество. Оставаясь бродячим военным братством с правом служить какому захочет князю, она не привыкла действовать дружно; каждый руководился личными, а не сословными интересами. Но при подвижности князей и их дружин получают значение главные города областей со своими

вечами. Они – сила постоянная – пользуются ослаблением князей от усобиц; область смотрит, что скажут, как решат на вече в ее старшем городе, и привыкает руководиться этим решением. Так подле власти князя является власть городского веча, но та же подвижность князей мешала точно определить отношения обеих властей друг к другу. Бродячие князья, не думающие ни о чем прочном, постоянном, бродячие дружины, городские веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений, без крепких форм, способных упрочить местное самоуправление, и, наконец, высшее духовенство во главе с митрополитом-греком, чужим человеком без языка перед народом и влияния, – таковы созданные или поддержанные родовыми княжескими отношениями элементы русского общества XI и XII вв.

Н. Рерих. **Рать на походе**

Как же вышло это общество из такого жидкого, колеблющегося состояния?

Пользуясь неурядицей, кочевники стали одолевать Русь в своем напоре из степи. Это заставило часть жителей Юго-Западной Украины выселиться в страны, более спокойные, дальше на северо-восток, в область Верхней Волги. Но здесь уже хозяйничает князь; поселенцы садятся на его земле, в его городах, получают от него льготы, всем ему обязаны, от него во всем зависят. Из этой зависимости развивается здесь сильная княжеская власть, какой не было на юго-западе, и вместе с ней – оседлость князя, привязанность к своему княжеству, а отсюда – понятие о *моем*, о княжестве как собственности князя. Так на севере со времени Андрея Боголюбского являются основания

нового политического порядка. Понятие об отдельной собственности развивает в князьях стремление увеличить свое княжество на счет других, прекращается передвижка князей из волости в волость, родовые отношения рушатся, происшедшее отсюда разъединение князей помогает одному из них, сильнейшему, подчинить других. Таким является князь Московский. Он присоединяет к своим владениям чужие и низводит своих ближайших родственников, удельных князей, в положение подданных, отнимая у них одно право за другим. Так совершается переход родовых отношений между князьями в государственные. Русская земля на севере собирается, и образуется Московское государство.

Но эти политические успехи достигнуты были не без больших национальных и нравственных потерь. Юго-Западная Русь, обессиленная с отливом исторической жизни на северо-восток, вконец разоренная татарами, отделяется от Северо-Восточной, подчиняется Литве, а через нее Польше и долго тратит свои силы в бесплодной для своего народного развития борьбе за народность. С другой стороны, русский человек, одинокий, заброшенный в мир варваров, затерянный в северо-восточных пустынях, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, вышел из общения с европейско-христианскими народами, в каком находился, живя на юго-западе, и целые века двигался все далее в пустыни востока, живя в отчуждении от западных собратий. Отсюда слабость материального, общественного и духовного развития. Общественные силы растут туго. Двор московского князя в XIV и XV вв. наполняется знатными пришельцами с разных сторон. Но это боярство живет еще преданиями отжившей старины, привычками вольных дружин XII в., держится за свое право перехода, когда переходить стало уже не к кому. Запоздалые притязания ведут к борьбе, которая при Грозном принимает кровавый характер и кончается не в пользу знати. И город на севере не удерживает прежнего значения. Ростов Великий падает, побежденный новыми княжескими городами, тотчас по смерти Андрея Боголюбского, и не поднимается более. Падает потом и Новгород Великий, вследствие прилива богатств неестественно вздувшийся в государство, но представлявший собою библейскую статую с золотою головой и глиняными ногами: низшие слои общества были против своекорыстной знати немногих, правивших делами города фамилий и помогли их гибели.

При неразвитости торговли и промышленности в земледельческом государстве города его бедны и слабы, в них не прививается даже самоуправление, какое пытался дать им

Грозный. При слабости других сил, одна великокняжеская власть развивается на просторе при разбросанности населения, недостатке сознания общих интересов, раздробленные части общества стягиваются сильною правительственною централизацией, как разбитый член стягивается хирургической повязкой. Новые тяжести, вызванные внешним положением объединившегося государства, постоянною борьбой на востоке, юге и западе, мешают подняться общественным силам. Сословия закрепляются: служилое – обязательною военною службой, городское и сельское – тяглом. Для обеспечения дохода казны и служилого помещика горожане прикрепляются к городам, крестьяне – к земле. Те и другие бегут от закрепления, куда можно, более всего на Дон, в степь, казаки. Когда государство начинает сжимать вольное казачество, последнее опрокидывается на государство. В начале XVII в., по пресечении старой династии, оно вмешивается в Смуту, начатую людьми, питавшими старинные притязания, и потрясшую государство в самом основании: неоднократно поднималось и потом, в XVII и XVIII вв., но государство устояло. При первых трех царях новой династии оно готовится вступить в общую жизнь с Западною Европой, занять место среди европейских держав. Начинаются важнейшие преобразования, под влиянием которых воспитывается Петр: он доканчивает начатое, решает нерешенное. Усвоение европейской цивилизации, имевшее при Петре материальные цели, во второй половине XVIII в. рождает потребность в духовном, нравственном просвещении.

Таков ряд мыслей, на основе которых развивался рассказ историка. Большая часть их была новостью, когда их впервые высказывал Соловьев, и стала теперь достоянием нашего общественного сознания.

В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли. В истории нашей науки и литературы было не много жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет Московский университет, с которым она была связана в продолжение 40 лет. Соловьев был питомцем этого университета, 34 года преподавал в нем, 6 лет стоял во главе его как ректор, наконец, в его аудитории получил первую обработку главный труд жизни Соловьева. Еще в 1843 г. в статье о Парижском университете он писал о заключении русским обществом «святого союза» с русским университетом «для дружного, братского прохождения своего великого поприща». «История России», ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новой связью, скрепляющею этот союз, и оба

союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию», а самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к самодеятельности.

С. Иванов. **Христиане и язычники**

Преподаватель. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор – в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель – что проповедник: можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже

очень сложная. Понятное дело: преподавателю, прежде всего, нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело – заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу – юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. Н. Леонтьев[4] совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надобилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но, бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний.

Новое здание Московского университета на Моховой улице.

Архитекторы Д. Жилярди и Е. Тюрин

Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные

крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая большая словесная, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору, не скажу упадка, – об этом грешно и подумать, – а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса. Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор. Мы его и похоронили весной 1865 г. при выходе нашего курса из университета. Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год, когда стояла на очереди новая история, не читал совсем. Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли за его гробом.

Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории Древней Руси, на четвертом – более подробный курс русской истории XVIII в. В 1863 г., когда я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек. Не помню теперь, почему мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И. Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали. На третьем курсе студент уже перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, вбирающим все, что ни попадется ему питательного по пути. Он уже становится несколько разборчив во впечатлениях и знаниях, начинает понимать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора. По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений. Пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько пооослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотоле другая сила – потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом, –

словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего *я* и в состоянии уже ухватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *словесную внизу* (название аудитории. – *Прим. ред.*) высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после, на мой вопрос об этом, он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении, речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело – тяжело писать и говорить, но легко писать и

говорить – тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово – что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова – это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжких неудач наших – в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь, и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения – вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отвеяно от всего лишнего, что обыкновенно пристает к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения, или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим

собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступит он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи.

После, став ближе к Соловьеву и начав готовиться к профессуре под его руководством, я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми. Я уже не говорю о русской литературе, русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор жизни был уже произнесен и исход болезни определился. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». – Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

В аудитории Московского университета.
Рисунок из альбома А. Бобринского. Начало 1840-х гг.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого миросозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого миросозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его «Истории России», о нем как об ученом: это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из году в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом. С ним вообще трудно было завести речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения, и отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему неприятность. Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоящим и пятачка, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце,

при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятачка не случилось!» Конечно, превосходная первая глава XIII тома его «Истории», содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы «Начало Русской земли», «Древняя Россия», «Исторические письма» и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса. В этих статьях есть все, что проводилось и развивалось в курсе. Но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это – главное, если не всё.

Здание университетской библиотеки

Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой

перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными; но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты: одну из них можно назвать прагматической, другую – моралистической. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом – историчностью. Вы думаете, легкое дело растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах людского общежития, об историческом процессе, закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса. У Соловьева сравнения, аналогия жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза, естественно и необходимо, повторявшаяся при всяком случае, как припев, – все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности. С другой стороны, – да не покажется нам это странным, – Соловьев был историк-моралист. Он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, знамение правды Божией. Я не вижу в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороной, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы,

когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть «жертва», что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит в «перевесе сил нравственных над материальными», что величие Древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано, как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения и мне думалось, что эти идеи органически вырастали из объясняемых ими фактов.

Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заведения; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекции в классе; неудобно и сказывать урок в аудитории. В первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором – студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что было; профессор рассуждает со студентами, что это былое значило. Но Соловьев так рассуждал со студентами о былом, что они живо представляли себе, как это происходило. Желательно, чтобы учитель так рассказывал о былом, чтобы ученикам хотелось рассуждать о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.

«История России с древнейших времен». Смерть застала историка за XXIX томом его «Истории России с древнейших времен» и прервала его тридцатилетний труд на полуфразе.

Когда стало известно, что работа, столько лет привлекавшая

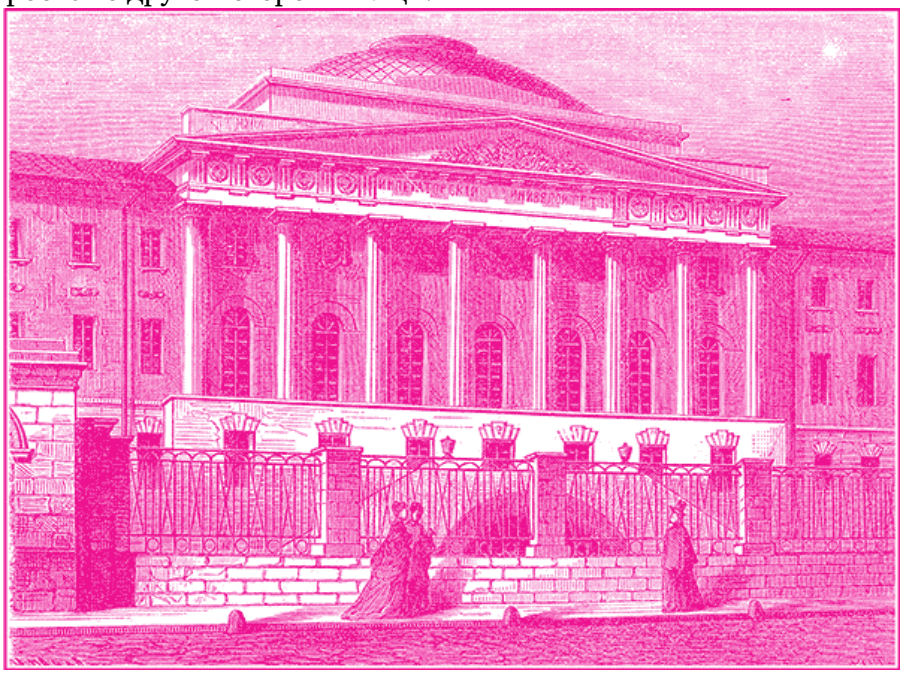
к себе внимание образованного русского общества, остановилась навсегда, что замерла энергия, ее двигавшая, первым побуждением было воздать должное покойному ученому, оценить, что сделал он своим многолетним трудом для науки, изучения русской истории, национального самопознания. Время строго проверяет чувства и суждения. Пишущий эти строки, которому досталась ответственная честь стать преемником С. М. Соловьева по кафедре, под первым впечатлением понесенной утраты написал несколько внушенных чувством ученика строк о характере почившего историка и значении его труда. Перечитав написанное четверть века спустя, автор не нашел преувеличения, к какому обыкновенно располагает еще не закрытая могила. Скорее, напротив: черты кажутся бледными и неполными, взгляд недостаточно широким.

…Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значение его ученолитературной деятельности, образ мыслей и убеждения, взгляд на исторические судьбы России. Под неостывшим еще впечатлением тяжелой утраты попытаемся припомнить хотя только наружные, самые поверхностные черты его как ученого.

Соловьев рано стал и до конца жизни остался ученым. Он умер, не дожив до конца своего 60-го года; но имя его уже 34 года известно в русской ученой литературе. Его деятельность в эти 34 года была разделена между архивами, университетской аудиторией и письменным столом его кабинета. Он удивительно много и правильно работал и на успехи русской исторической науки имел влияние, которое пока трудно еще оценить достаточно. С 1845 г., когда появилось его первое исследование по русской истории, и до последней строки, им написанной незадолго до смерти, он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы. В движении русской историографии это время можно смело обозначить именем Соловьева: живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего Отечества, охотно согласятся с этим. Вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связав одной мыслью разорванные лоскуты исторических памятников, и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории.

Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться

на том или другом факте дольше Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, чем изучал он; но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах. В 1851 г. вышел первый том его «Истории России», и с тех пор каждый год читатель получал новый том в урочное время с точностью, которой не могла победить даже предсмертная болезнь автора: умирая, он сдал XXIX том в типографию почти законченным; перо выпало из руки недалеко от предположенного конца книги – описания казни Пугачева. Никогда прежде, в продолжение почти трех десятилетий, в нашу историческую литературу не вливалось так последовательно, такой непрерывной струей столько свежих знаний. После продолжительного и трудного пути повествователь подходил уже к порогу нашего века. Жизнь одного поколения отделяла его от времени наших отцов, когда оборвалась нить его повести и его жизни. Он напоминает своей деятельностью нашего древнего колонизатора, который, отыскав протоптанную тропу по опушке дремучего леса, первый отважился продолжить ее в не пройденную никем глубь и упал, когда уже стал показываться просвет с другой стороны чащи.



Старое здание Московского университета

Сам историк очень спокойно смотрел на значение труда, которому он отдал 30 лучших лет своей жизни. Задолго до смерти он выказывал уверенность, что в недалеком будущем напишут историю России лучше него. За собой он удерживал только заслугу первой тяжелой расчистки пути, первой обработки сырого материала. Но по многим причинам 29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев. Исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступать рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-либо остроумной догадкой, которая поселила бы самодовольную уверенность, что вопрос покончен, или легла бы лишним камнем на пути для других исследователей. Вот почему от такой продолжительной и быстрой работы над неопрятным, неочищенным материалом у Соловьева осталось так мало *ученого сора*. Найдут разные недостатки в его огромном труде; но нельзя упрекнуть его в одном, от которого всего труднее освободиться историку: никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока.

Вид на Москву с Воробьевых гор.
Литография первой половины XIX в.

Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманный факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность сухого историка. Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал. Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаза, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатырстве.

Истории Соловьев не ронял до памфлета. Он умел рассматривать исторические явления данного места и времени

независимо от временных и местных увлечений и пристрастий. Его научный исторический кругозор не ограничивался известными градусами географической широты и долготы. Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из виду общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества. Мыслитель скрывался в нем за повествователем; его рассказ развивался на историко-философской основе, без которой история становится забавой праздного любопытства. Оттого исторические явления стоят у него на своих местах, освещены естественным, а не искусственным светом; оттого в его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней беллетристической стройности изложения.

Широта исторического взгляда была отражением широты его исторического образования. В области русской истории трудно быть специалистом более Соловьева. Не много будет после него ученых, которым удастся так последовательно и полно изучить источники нашей истории. Но Соловьев не закапывался в свою специальность. В этом отношении он – поучительный образец, особенно для занимающихся отечественной историей, между которыми часто проявляется наклонность уединяться в своей цеховой келье. Первый мастер своего дела, Соловьев хранил в себе хорошие свойства ученых старого времени, когда научные специальности еще не расходились между собою так далеко, как разошлись они теперь. Образцовые произведения исторической и политической литературы Европы со времени Геродота и до наших дней он изучал в подлинниках и знал превосходно. Библейские книги были ему знакомы, как древние русские летописи. Знатоки поражались внимательностью, с какой он следил за текущей иностранной литературой по истории, географии, этнографии и другим смежным отраслям знания. Для них остается неразрешимой загадкой, где находил время для этого человек, с такой педантической точностью исполнявший свои служебные обязанности, постоянно писавший в периодических изданиях и ежегодно издававший новый том «Истории России».

В минуты отдыха он особенно охотно говорил о какой-нибудь замечательной литературной новости, иностранной или русской, часто очень далекой от предмета его текущих специальных занятий. Феноменально счастливая память помогала этой безустанной работе. Казалось, эта память не умела забывать, как мысль, которой она служила, не умела уставать. Наблюдатель, изучив свойства его таланта, образ его мыслей, круг его интересов, наконец, с недоумением останавливался перед самым

устройством его ума: оно поражало его, как редкий ученый механизм, способный работать одинаково, спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоять время и восстановлять силы простой переменой занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов.

Прошедшим летом, прикованный болезнью к креслу, он не мог оторваться от только что изданной переписки Погодина со славянскими учеными и знакомым, пришедшим навестить больного и напрасно усиливавшимся сдержать его участие в разговоре, передавал свои воспоминания о Шафарике и народно-литературном движении среди чехов сороковых годов с живостью недавнего впечатления, хотя прошло уже 37 лет с тех пор, как он был в Праге. Вслед за тем показал он только что полученный выпуск географического труда Реклю, где помещен рисунок старинного деревянного храма в Норвегии, близко напоминающего своей архитектурой московский храм Василия Блаженного, готов был без конца рассуждать о происхождении и значении этого сходства. Недели за три до смерти голосом, которого уже не хватало на окончания слов, он еще спрашивал посетителя: не вышло ли чего новенького по нашей части? Интерес знания еще живо горел, когда гасла физическая жизнь.

Эта энергия умственных интересов поддерживалась единственно нравственной бодростью и не знала тех искусственных возбуждений, которые приходят со стороны на помощь писателю. Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей своей книги; он даже преувеличивал равнодушие к ней публики. Говоря об увеличивающемся спросе на книгу, необходимости новых изданий разных ее томов, он объяснял это исключительно заглавием своего труда и размножением казенных и общественных библиотек, которым надобно же иметь на полках «Историю России с древнейших времен». Но он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета.

Его нравственный характер очень поучителен. Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси в виду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях. Осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его

сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня; они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой.

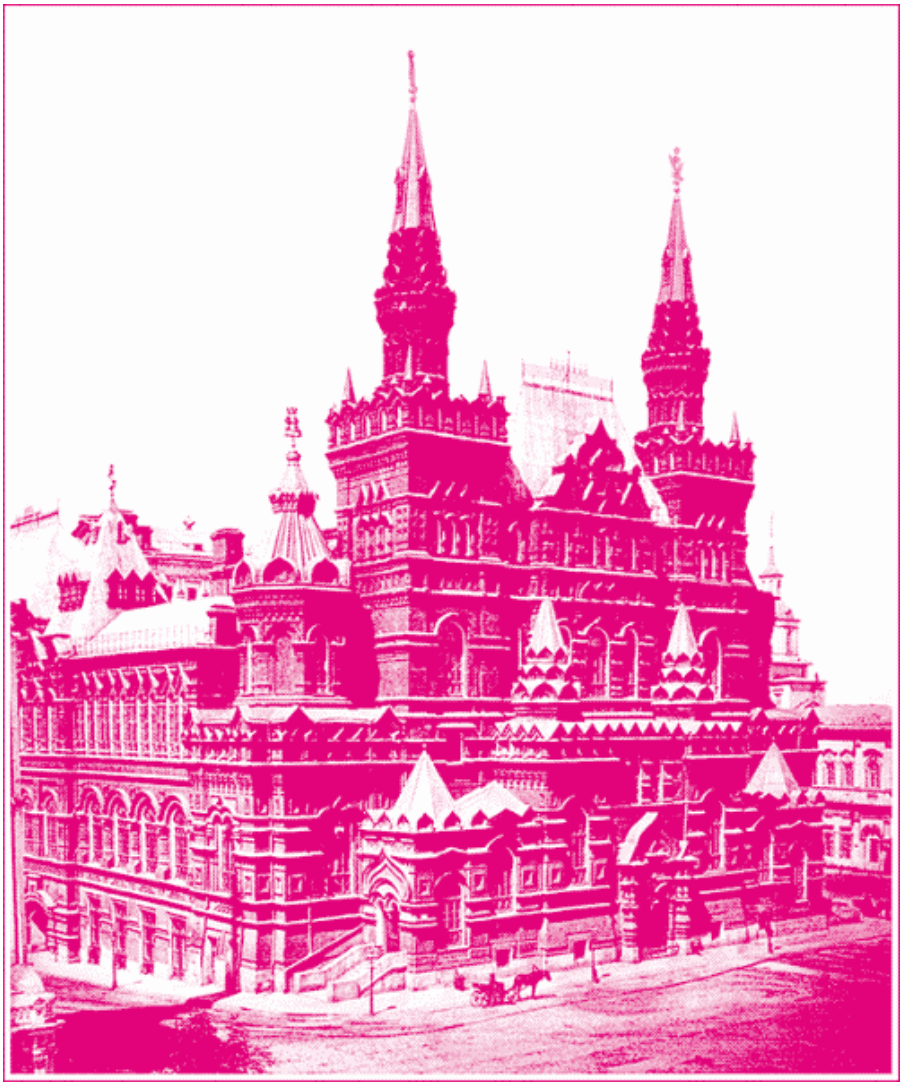
Все это бледно, неполно, поверхностно. Сказать это теперь – значит сказать слишком мало. К двадцать пятой годовщине смерти историка стало ясно и общепризнано многое, что лишь смутно предчувствовалось или чаялось при гробе. Большое компактное издание «Истории» в шести полновесных книгах, начатое в 1893 г., стало быстро расходиться, и три года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые три книги вышли уже вторым изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. К нему обращался образованный читатель, желавший расширить, упорядочить и освежить идеями и конкретными впечатлениями свои познания по русской истории. Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов, обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступавших к научному изучению нашего прошлого. Целый ряд специальных исследований, посвященных ученой разработке отдельных фактов, эпизодов, учреждений, источников нашей истории, шел от положений, изложенных в «Истории России», в ней искал первых руководительных указаний и ею же проверял свои выводы и открытия, даже когда частично пополнял и поправлял ее.

В популярных изложениях русской истории нередко сквозят материал, фон, мысли и краски, данные тем же произведением. Широкие обобщения и сопоставления, стереотипные положения о естественности и необходимости исторических явлений, закономерности в истории, параллели между личной, индивидуальной и массовой народной жизнью – такие общие исторические идеи, которыми Соловьев любил, как световыми полосками, прокладывать в своем изложении фон исторической жизни, оказывали формирующее действие на мышление русского читателя, еще не отвыкшего мешать историю с анекдотом, мирили его с мыслью, что и в истории есть своя таблица умножения, свое непререкаемое *дважды два*, без которого немыслимо никакое историческое мышление, невозможно даже никакое людское общежитие.

Все это было признано и ценилось еще при жизни историка. Теперь, отдаленные от него таким пространством времени, можем ввести в его оценку еще один мотив: к признанию того, что им

сделано для русской истории, можно присоединить сожаление о том, что преждевременная смерть помешала ему сделать. В минуту смерти речь об этом могла показаться неуместной жалобой; через 25 лет такое сожаление – спокойно-грустное воспоминание о научной потере, которая для русской историографии осталась доселе невознагражденной.

Эта утрата ближайшим образом касалась русской истории XVIII в. В «Истории России» этот век впервые вскрывался во всей полноте своего нетронутого наукой содержания и в непрерывной, тщательно выясненной преемственной связи с его девятью предшественниками. Уже три четверти столетия были пройдены историком, пером и словом которого более 30 лет возбуждалось и поддерживалось внимание русского читающего общества и учащегося юношества к своему прошлому. Тогда уже привыкали думать: еще несколько лет, еще немного усилий неутомимого труда, и этот век, русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами, наконец предстанет перед читателем в цельном научном изображении.



Здание Московского исторического музея. *1880-е гг.*

В XIII томе «Истории России», где изложены царствование Федора Алексеевича и следовавшая за смертью этого царя московская Смута 1682 г., автор поставил рядом с общим заглавием своего труда другое, частное, повторенное и в дальнейших пяти томах до смерти Петра Великого: «История России в эпоху преобразования». Большую половину XIII тома занимает предпосланная царствованию Федора вводная глава, в которой за общим обзором хода древней русской истории следует превосходное изображение состояния России перед эпохою преобразования. Таким образом, на 1676 г., когда началось царствование Федора, сам историк провел раздельную черту между древней и новой Россией. Этот XIII том появился в 1863 г.

Семнадцать лет писал Соловьев новую русскую историю. Быстро развившаяся болезнь остановила работу, которая по возрасту автора могла бы продолжаться еще немало лет.

Кремлевская набережная Москвы-реки в 1880-е гг.

Неоконченный XXIX том, изданный по смерти историка в 1879 г., доводит обзор внешней политики до 1774 г., когда был заключен мир с Турцией в Кучук-Кайнарджи, а в описании внутреннего состояния России прерывается на делах 1772 г., перед самым мятежом Пугачева, казнью которого (в январе 1775 г.) предположено было закончить этот том. Соловьев признавался, что не рассчитывает вести свой труд дальше царствования Екатерины II. Рассказ о нем начат в XXV томе. Если первые 12 лет деятельности этой императрицы потребовали пяти томов, то на остальные 22 года необходимо было не менее шести. И если бы плану историка суждено было осуществиться, читатель получил бы громадный исторический труд в 35 томах, из коих 23

были бы посвящены изображению всех 120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в. Так «История России», по замыслу автора, – собственно история новой России, подготовляемой к преобразованию, преобразуемой и преобразованной, и первые 12 томов труда – только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе.

Дело биографии рассказать о редко удающемся совмещении в одном лице качеств, которым удивлялись в Соловьеве, такой научной подготовки, широты исторического взгляда, любви и способности к непрерывной умственной работе, уменья беречь время, силы воли, наконец, такого запаса физических сил, личных условий, встреча которых сделала возможным создание «Истории России». Оглядываясь на этот труд на расстоянии 25 лет от минуты, навсегда его прервавшей, невольно останавливаешься мыслью на его отношении к своему времени, спрашиваешь себя, что он давал своему времени и что воспринимал от него. Это довольно сложный вопрос, относящийся к истории нашего общества, просвещения, нашего общественного самосознания. Было бы опрометчиво входить в разбор такого вопроса в воспоминании по случаю; но позволительно сделать некоторые сопоставления.

Первые тома «Истории России» появлялись в то время, когда в русском литературном мире, не в литературе и не в обществе, а именно в кругу людей, близко стоявших к литературе, но в ней вполне не высказывавшихся, боролись два взгляда на наш XVIII век, собственно на петровскую реформу, наполнявшую его собой и своими разносторонними последствиями. Это очень известные взгляды сороковых и пятидесятых годов прошлого столетия. Люди, смотревшие одним из этих взглядов, видели в реформе Петра пробуждение России, поднятой на ноги толчком могучей руки преобразователя, который, призвав на помощь средства западноевропейской цивилизации, вывел Россию из ее векового культурного застоя и бессильного одиночества и заставил развивать свои мощные, но дремавшие силы в общечеловеческой жизни, прямом общении с образованным европейским миром. Другие находили, что в последовательном и самобытном движении нашей народной жизни реформа Петра произвела насильственный перерыв, сбивший ее с прямой исторической дороги в чужую сторону, убивший зачатки ее самобытного развития чуждыми формами и началами, навязанными ей гениальным капризом. Смотря на дело с противоположных точек зрения, пользуясь для наглядного выражения своих взглядов образами, взятыми из различных порядков явлений, обе стороны сходились в одном основном положении. Обе признавали, что

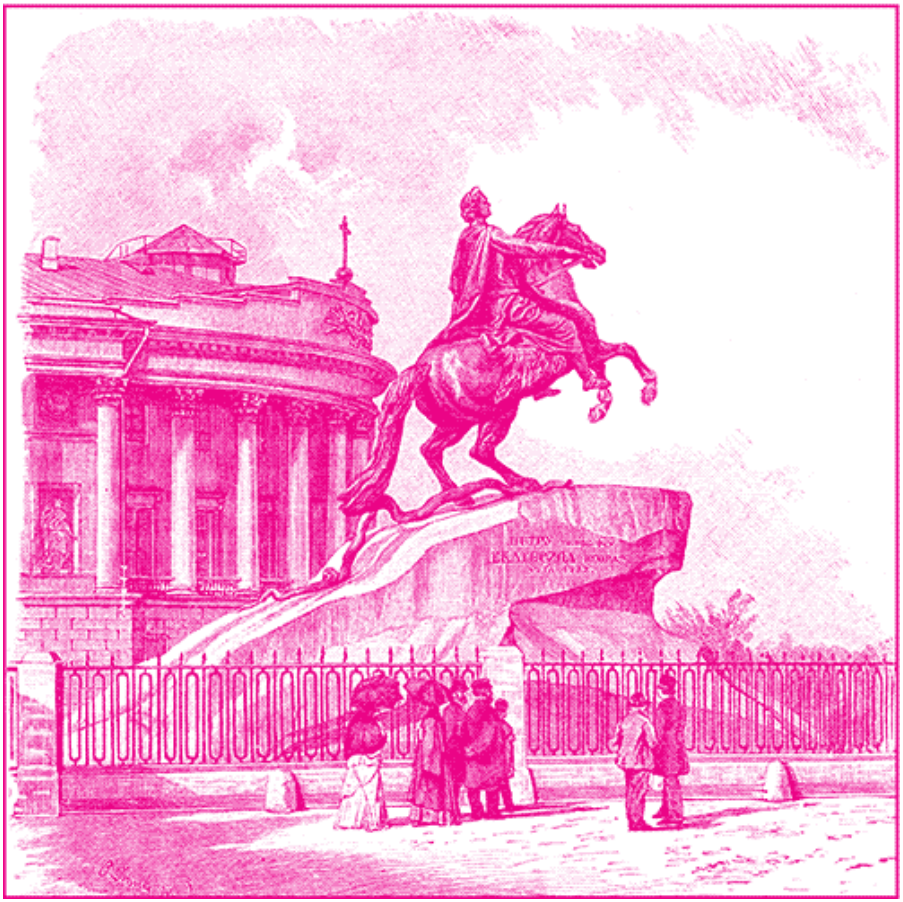
реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая – великим несчастьем для России.

Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из боровшихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала XVIII в. прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический: существенно важно лишь то, что полтораста лет спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении. Умы стали практичнее относиться к вопросу о месторождении форм и начал жизни; многие становились на ту точку зрения, что пусть известные формы и начала и не совсем самородны по происхождению, лишь бы они вызвали к действию дремлющие или опустившиеся народные силы, помогли справедливо развязать запутавшиеся узлы общественных отношений. Во всяком случае, можно безобидно сказать, что в начале шестидесятых годов прошлого столетия в нашем обществе не существовало прочно установившегося, господствующего взгляда на ход и значение нашей истории в последние полтора века. В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября, Соловьев издал XIV том своей «Истории России», в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII в.

Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И однако то

время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судоустройстве и местном управлении. Но самому обществу было, по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его естественному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса. От появления случайностей, недостаточно предусмотренных, от преемственной смены подъемов и понижений духа в общественном сознании, наконец, отложилось одно несколько выяснившееся историческое представление, что русская жизнь безвозвратно сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые. Тогда русская история опять разделилась на две неравные половины: дореформенную и реформированную, как прежде делилась она на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую. Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению настроили свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы?



М. Фальконе. **Памятник императору Петру I в Санкт-Петербурге**

Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа.

Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по

принадлежности со стереотипным предостережением, caveant consules, а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы. Образованные и состоятельные классы, обязанные показать своим поведением, как следует переходить со старых основ жизни на новые, выставляли из своей среды деятелей, являвшихся в уголовных отделениях новообразованных окружных судов печально-убедительными показателями уровня, на каком покоились их нравы. При таких примерах слишком взыскательное отношение к тому, как только что вышедшие на волю крестьяне понимали и практиковали дарованное им сословное самоуправление, было бы общественной несправедливостью.

М. Микешин. **Памятник императрице Екатерине II в Санкт-Петербурге**

При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе, Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодуя на все, что мешало успехам преобразовательного движения. В журнальных статьях он по временам отзывался на текущие вопросы, занимавшие русское общество. Достаточно вспомнить хотя бы его «Исторические письма» 1858 г., начинающиеся указанием на то, как много жизнь требует от науки, как много объяснений требует настоящее от прошедшего. Здесь же он высказал и свой взгляд на отношение науки к жизни. «Жизнь, – писал он, – имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».

Все знали, что историк – сторонник одного из указанных выше взглядов, что он даже один из самых убежденных и сильных его защитников в нашей исторической литературе. Но с каждым дальнейшим томом читателю становилось все яснее, что изображение реформы делается не под исключительным углом зрения, какой установлен был взглядом его стороны, что, не изменяя основным ее воззрениям, он значительно преломляет их, исправляя и углубляя привычные суждения. В пяти томах, посвященных собственно деятельности Петра, и потом во всех дальнейших читатель встречает полное изображение реформы с многообразными последствиями и связями, какие соединяли с ней все явления нашей внешней и внутренней жизни как при самом преобразователе, так и при его преемниках и преемницах до последней четверти того века, – и все это на основании изучения обширнейшего, большею частью нетронутого исторического материала, изучения, какого не предпринимал еще ни один русский ученый до Соловьева.

Историк остался верен благоговейному удивлению перед деяниями Петра, который в его повествовании вырастает в величавый, колоссальный образ, во всю свою историческую величину, но история не превращалась в эпос. Самый процесс реформы при Петре и после него описан удивительно просто или,

как говорится, объективно, со всеми колебаниями и ошибками, с намеренными и нечаянными уклонениями в сторону и с тревожными, как бы инстинктивными поворотами на прежний путь. Читатель, переживший реформы императора Александра II, мог по книге Соловьева с большим для себя назиданием наблюдать, во что обходился, каких усилий и жертв стоил Петру каждый успех в общем улучшении народной жизни, как при каждом шаге могучего двигателя старина силилась отбросить его назад, как, по печально удачному выражению Посошкова, «наш монарх на гору сам – десять тянет, а под горы миллионы тянут» – короче, сколько условности, метафоры в наших словах, когда мы, из своей обобщающей дали оглядываясь на прошлое, говорим о переходах народной жизни со старых основ на новые.

Но самое сильное и поучительное впечатление, какое выносил из книги читатель, заключалось во взгляде на происхождение реформы, ее отношение к Древней Руси. «Никогда, – писал историк в заключительной оценке деятельности Петра, – ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века». «История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории». И рядом с этим читаем суждение о реформе Петра как о перевороте, необходимо вытекшем со всеми своими последствиями из условий предшествовавшего положения русского народа, что деятельность Петра была подготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо из нее вытекала, требовалась народом. Итак, ни личного произвола, ни насильственного, хотя бы творческого перерыва в естественном движении народной жизни, ничего чудесного не понадобилось для научного объяснения единственного в своем роде исторического дела, совершенного «величайшим из исторических деятелей», как назвал Соловьев Петра I: достаточно было простой мысли, что народная жизнь никогда не порывает со своим прошедшим, что такой разрыв – только новая метафора.

В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом, перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., «История России» все более переходила к летописному,

погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России, с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая основа в ткани, проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра. Меняются лица и обстановка, а преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими преемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность. Так живо чувствуется действие его идей и начинаний либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей, и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра – неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений.

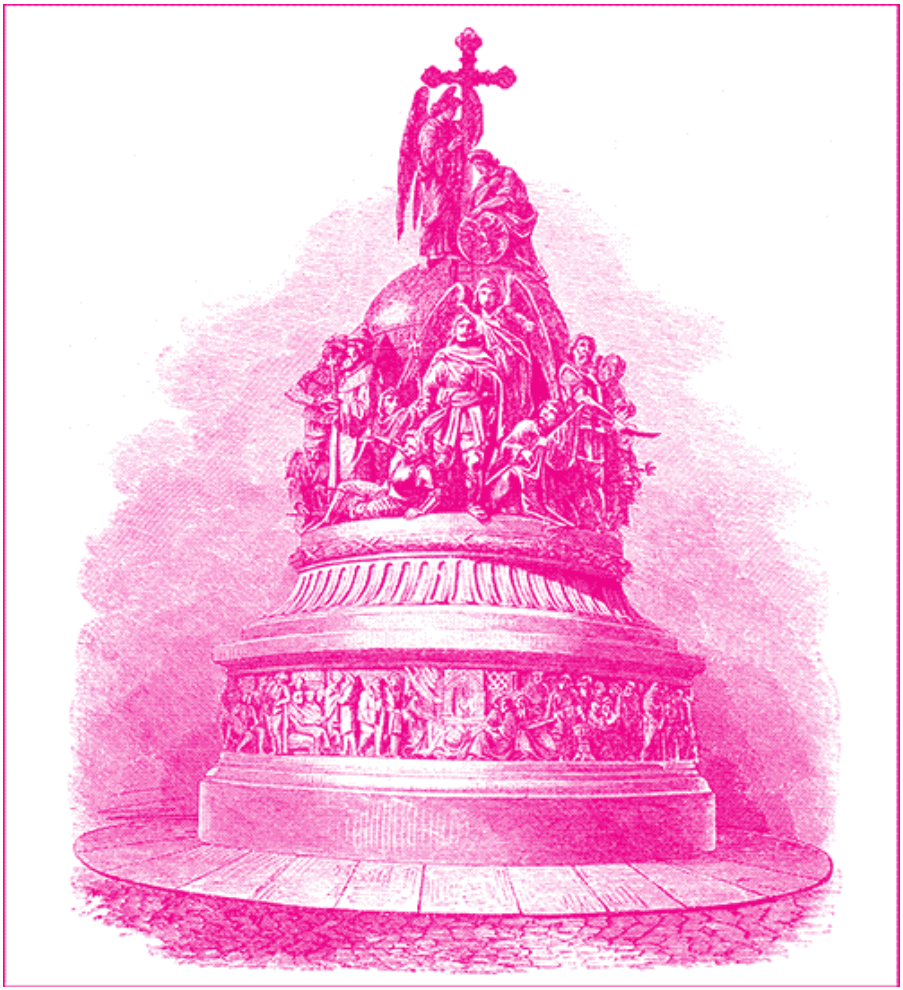
Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение. Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение. То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотоле; тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания, взглянуть на дело Петра. С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итоги, подсчитать результаты и объяснить неожиданности.

Один из питомцев Петра выразился о преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то почерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 г. впервые победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то распространение телесных наказаний на привилегированные сословия, три четверти века спустя после указа о пытке, можно признать последней законодательной пробой того же дела, только с другой стороны. Одна из любопытнейших частей нашей истории – судьба петровских преобразований после преобразователя – осталась недосказанной в книге Соловьева.

Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное

историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, – перед завершительным *итак*. Этот перерыв оставил и, может быть, надолго в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль, и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые ее течения; ни чье суждение не помогло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежне правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об *Отечестве* в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении Отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.

Повторю: в двадцать пятую годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь невольно о том, что смерть помешала ей сделать.



М. Микешин. **Памятник тысячелетию Российского государства в Новгороде**

notes

Примечания

1

Умер 4 октября 1879 г.

2

Август Неандер (1789–1850) – протестантский историк Церкви, как профессор богословия преподавал в Берлине. Считал, что история Церкви не может основываться на умозрительных концепциях, а должна оперировать фактами; его называли «отцом новейшей церковной истории».

З

Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словацкий и чешский славист.

4

Павел Николаевич Леонтьев (1822–1874) – преподаватель Московского университета, первым читал курс сравнительной грамматики классических языков.